

Григорий Померанц

Расширение пространства любви

Толчком к этой теме была дискуссия с Акопом Назаретяном в журнале «Педология». Я не думал, что моя реплика на его статью вызовет длинный ответ; но такой ответ был написан и напечатан рядом с моим коротким текстом; возникло желание продолжить разговор. Начну с моей реплики:

Об опасности «монистического взгляда на историю».

Мне не дает покоя статья, опубликованная в седьмом номере журнала, – «Заметки о человеческой агрессивности». Ворочаясь, я сочинил ответ. И мне ничего не оставалось, как изложить его на бумаге. «Вот что важно по большому счету, – пишет автор статьи, – в каких формах совершается агрессия и насколько эти формы адекватны социальной ситуации. Чтобы сказанное было понятнее, назову несколько имен, носители которых, судя по их жизнеописанию, имели запредельно высокий уровень агрессивности: Иисус Христос, Магомет, Христофор Колумб, Людвиг ван Бетховен, Владимир Ильич Ленин, Адольф Гитлер...».

По-моему, в этом списке не хватает Будды. Тогда было бы еще понятнее. Видимо, автор смешивает всякую активность с агрессивностью. Активность любви, артистического вдохновения, воли к власти – все под одну гребенку. Я прочел и увидел, что не надо, не надо создавать еще один «монистический взгляд на историю». Достаточно эксперимента с экономическим фактором, который тоже все объяснял.

Граница проходит не столько между человеком и животным (эта граница действительно «прозрачна»), сколько между статистически средним человеком и «сильно развитой личностью», как выразился Достоевский (ср. «Зимние заметки о летних впечатлениях», глава «Опыт о буржуа»). Норма животного – среднестатистическое животное, норма человека – «сильно развитая личность». Это открытие повторяется из века в век. Человек присужден тянуться вверх; иначе он очень быстро опускается вниз, ниже хорошей собаки или лошади.

В человеке сосуществуют и борются два «я»: я – эго и Я – атман (которое неотделимо от Брахмана; или, в другой культуре, Я, которое одно с Отцом). Активность малого «я» – всегда агрессия. «Другой отнимает у меня мое пространство. Существование другого – недопустимый скандал» (Сартр). Иногда агрессия может быть полезна для общества (здесь я соглашусь с автором статьи). Еще в XVIII веке было замечено, что частные пороки иногда ведут к общему благу (это утверждал Бернард де Мандевиль в своей «Басне о пчелах»). На малое «я» и сегодня опирается реклама. Но очень разные мыслители, Поппер и Гадамер, согласны в своей критике современного телевидения. Господство малого «я» опустошает и разрушает личность. А вслед за ней неизбежно погибнет и общество.

Мне трудно отказаться от желания процитировать автора, стоящего вне науки, но не вне истории человеческой мысли: «Когда общество составляют люди, не знающие внутреннего покоя, его больше не связывает любовь и поэтому его связывает насилие...» (Т. Merton, *Thought in solitude*, N.Y., 1956 (1993)). Впрочем, удержусь. Иначе можно переписывать Мертона страницами. Особенно сильно звучит критика малого «я» в более поздней его книге «Новые семена созерцания».

Поразительно, что Мертона у нас до сих пор не переводят. Его «Семярусная гора» разошлась в 20 миллионах экземпляров и переведена на двадцать языков. Ее сравнивали с «Исповедью» Августина. Но в отличие от Августина поздний Мертон с трудом укладывается в рамки католицизма. Еще меньше, чем «Проповеди и рассуждения» Мейстера Экхарта. Однако это не приблизило его к научному мировоззрению. В «Новых семенах созерцания» он убедительно показывает неспособность научной психологии понять «созерцание», непосредственно пережитое им (примерно это Кришнамурти называл «безымянным переживанием»). Мне кажется, ученым следовало бы знать не только свою науку, но и критику науки людьми, опыт которых недоступен науке. Чтобы понять человека, одной науки мало.

Мертон с захватывающей силой показывает борьбу малого «я» с большим «Я». Мне хочется прибавить к «Новым семенам созерцания» только одну метафору. Представьте себе океан вроде того, который мы видели в картине «Солярис». Океан мыслящий, чувствующий, превосходящий ум человека. Этот океан в моей метафоре соприкасается с сушей. Граница изрезана заливами. Каждый залив – одно с океаном, но у него неповторимые берега, неповторимые очертания. Он одно с океаном, но не равен ему, как не равна океану капля, как не равен Отцу Сын (так по Евангелию: Отец мой более Меня).

Ребенок всего этого не сознает. Он то чувствует океанский прилив и ликует, то обмарался и плачет. Потом целостность восприятия рассыпается на знание предметов, и чувство связи с океаном рушится. Оно противоречит логике. Залив превращается в озерко, в лужицу, а иногда и в сухие солончаки.

Водоем, отделенный от океана, – эго. Но иногда остаются смутные воспоминания об океане, тоска по океану, иногда их поддерживает метафорика древнего опыта. В иные минуты отмель, загородившая залив, прорывается изнутри или извне, и волны подхватывают нас.

В каждой великой культуре есть образ, ассоциативно связанный с океаном. Этот образ создает не агрессия. Его создает любовь. И на образах, созданных любовью, держится «вертикаль» культуры, призыв «вверх».

Люди слабы и часто падают. Но призыв «вверх» противостоит разрушительным силам обособленности, страха и ненависти. Высший образ, где все мы – одно, поддерживает равновесие личности и общества, как центростремительное движение уравнивает центробежное, как «Магдалина» Пастернака противостоит «Путешествию из Москвы в Петушки» или позднему Бродскому, который сам себя назвал «центробежным поэтом».

Культура не может обойтись без веры в нечто научно необоснованное, подтвержденное только опытом какого-нибудь апостола Павла, написавшего: «Я умер, жив во мне Христос». Во многих практических делах мы вынуждены забывать об океане. Но одна из задач воспитания – передать детям память об океане и не ставить Христа рядом с Гитлером. Жизнь на уровне **непрерывности** связи с океаном – Божий дар. Смешивать его с агрессией – все равно что сравнивать Божий дар с яичницей. Активность это рассыпается по тысяче направлений и ведет к хаосу. Энергия океанической любви уравнивает распад и восстанавливает цельность мира. (Григорий Померанц).

А. Назаретян. Сила не превысит мудрость.

Я, автор «Заметок», напечатанных в седьмом номере журнала «Педология. Новый век» и огорчивших Григория Соломоновича, начну с признания в глубоком уважении к нему как выдающемуся культурологу, историку и философу. В книгах, статьях и лекциях часто цитирую фрагмент статьи, который помню наизусть. «История – это прогресс нравственных задач. Не свершений, нет, - но задач, которые ставит перед отдельным человеком коллективное могущество человечества, задач все более и более трудных, почти невыполнимых, но которые с грехом пополам все же выполняются (иначе все бы давно развалилось)».

Итак, если все пока не развалилось, значит, люди до сих пор, пусть с грехом пополам, как-то компенсировали возрастающее технологическое могущество. Больше того, в «Заметках» рассказано о расчетах, демонстрирующих, что с ростом убийной силы оружия и плотности проживания людей процент насильственных жертв от общей численности населения не только не возрастал, но и сокращался.

За счет чего же это достигалось? Усиливалась взаимная любовь между людьми? Я бы очень удивился, узнав, что Григорий Соломонович действительно так думает. Но если нет, то приходится указать на логическое противоречие в его концепции. Коль скоро люди, обретая все более мощные средства взаимного уничтожения, все реже прибегали к примитивному физическому насилию, не становясь при этом более любвеобильными, следовательно, дело вовсе не в любви. Совершенствовались какие-то иные средства согласования интересов.

Каким образом это происходило, и почему цивилизация на нашей планете все еще существует и развивается несмотря на множество пережитых кризисов и катастроф, стало яснее после того, как был сформулирован **закон техно-гуманитарного баланса**. Оказывается, на протяжении всей истории и предьстории человечества действовал контролирующий механизм отбора социальных организмов на жизнеспособность. А именно: те общества, в которых, грубо говоря, сила превышала мудрость, систематически выбраковывались Историей.

История при этом не мистическая сущность или суровый богоподобный субъект: механизм отбора проще и драматичнее. Общество, нарушившее баланс между наличным технологическим потенциалом и качеством гуманитарной

культуры, подрывает природные и (или) политические основы своего существования и становится жертвой собственного некомпенсированного могущества.

Короче говоря, люди до сих пор не истребили друг друга и не разрушили природу благодаря тому, что им в конечном счете удавалось адаптировать свои сознание, мораль, право и прочие механизмы социальной регуляции к возрастающим технологическим возможностям. Новые орудия производства и разрушения, вызывая возрастающее экологическое и (или) геополитическое напряжение, со временем влекли за собой либо надлом и распад общества, либо перестройку системы ценностей и норм деятельности. Средства сдерживания, сублимации, канализации агрессии умножались и совершенствовались – а тем самым мир становился не только относительно безопаснее, но и внутренне динамичнее. К настоящему времени описано не менее шести глобальных культурных революций, каждая из которых становилась вехой общечеловеческой истории. (Я об этом подробно писал в книге «Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории», изданной в Москве издательством ПЕР СЕ в 2001 году.)

А как же любовь? Поскольку Григорий Соломонович призывает отвлечься от собственно науки, не стану приводить данных, свидетельствующих о том, что любовь – тоже превращенная форма агрессии. Подчеркну другое: возлагая на эту вольную своенравную даму не свойственные ей прагматические функции, мы саму ее выхолостим и умертвим, а общество обречем на новые беды.

Древнегреческий философ Эмпедокл, вероятно, первым показал, что мир тотальной любви крайне неустойчив. Вместе с противоречиями и конфликтами в нем прекращаются события; скука актуализует оборотную сторону любви, и тотальная ненависть взрывает такой мир до основания. Так был философски угадан закон амбивалентности эмоций, о котором в последующем размышляли поэты. («Все, все, что гибелью грозит, / Для сердца смертного таит / Незъяснимы наслаждения...»), а спустя две с половиной тысячи лет – и профессиональные психологи.

Разве мировая история или история нашей страны не изобилует наглядными политическими иллюстрациями глубокой сопряженности любви и ненависти? Не любовь ли к человечеству и не жажда ли самопожертвования во имя всеобщего счастья толкали большевиков на подвиги? Не человеколюбивой ли философией Руссо руководствовались фанатик Робеспьер и якобинцы, дошедшие до того, что вырывали плоды из утробы беременных аристократок, нанизывали их на штыки и дефилировали по Парижу, размахивая этими чудовищными «знаменами»? И не любовь ли к Богу вдохновляла толпы христиан на разрушение античных храмов, избивание камнями статуй, растерзание живьем греческих философов?..

В «Заметках о человеческой агрессивности» не случайно приведены слова известного ученого о том, что вовсе не ненависть, а любовь, альтруизм служат психологической подоплекой войны. Добавлю, кстати, что те учения, в которых

акцент ставился на любви, на истине, на исконной человеческой доброте и т.д. (Христос, Руссо, анархисты, коммунисты, православные философы-монархисты), очень часто оборачивались жестокими катаклизмами. А конкурирующие с ними учения способствовали совершенствованию социальных отношений.

Так, циничный Макиавелли заставил впервые усомниться в манихейских приемах демагогии, когда любая политическая мерзость (призывы к войне, к истреблению иноверцев и проч.) мотивировалась исключительно моральными соображениями, любовью к ближнему или к Богу. Надменный Гоббс, настаивавший на неустранимости человеческого эгоизма и необходимости взаимного контроля, внес решающий вклад в теорию и практику демократического разделения властей. «Этот ужасный Фрейд» (так назвала великого ученого современная ему газета) создал приемы психотерапии, которые помогли ослабить социальные неврозы и регулировать конфликты...

Насколько я понял, самое сильное неудовольствие Григория Соломоновича вызвало то, что в «Заметках» Христос упомянут в списке людей – пророков, художников, политиков, авантюристов – с очень высоким уровнем агрессивности. Понятно, для верующего христианина это неприемлемо, равно как для мусульманина или коммуниста (ибо в списке присутствуют Магомет и Ленин). Но ведь я писал текст не для религиозного, а для **научно-популярного** издания, и для меня как ученого Библия, Коран или произведения наших родных классиков не откровения, а документы.

Читая, скажем, Новый Завет глазами психолога, мы видим перед собой образ живого человека, реального или вымышленного. И тогда бросаются в глаза не только обидные выражения, угрозы и посулы, коими то и дело осыпает герой своих восторженных учеников. И не только содержание его речей: «Не мир пришел Я принести, но меч»; «Предаст же брат брата на смерть, и отец – сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их»; «Продай одежду свою и купи меч» и т.д. И даже не конкретные действия типа изгнания менял из храма, которые теперь назвали бы погромом, а участвующих в нем людей – агрессивной толпой.

Есть более важное обстоятельство. Многолетний опыт работы в психологии дает мне некоторое представление о том, какими глубокими личностными комплексами надо обладать и какие гиперкомпенсаторные механизмы задействовать, чтобы ощутить себя единственным сыном Бога, носителем Истины, рожденным не от римского солдата (как сообщают нехристианские источники), но от Духа Святого...

Чуть ли не первое, что сделали христиане, добившись власти в Риме, – создали (усилиями Блаженного Августина) концепцию священных войн. Для этого в Библии, как и в любом богооткровенном учении, имелось более чем достаточно оснований.

Различие между религиями, которое очень часто гипертрофируется, в действительности гораздо поверхностнее, чем сходство между ними. Каждая из них теми или иными словами требует: «Не убий» – и тут же ограничивает сферу

применимости этого требования: «Кто не со Мною, тот против Меня». «А когда встретите тех, которые не уверовали, – вторит Христу Магомет, – то – удар мечом по шее; а когда произведете великое избиение их, то укрепляйте узы». В политике эту мысль проще всех выразил Ленин: «Прежде чем объединиться, нам надо размежеваться...»

В этом и состоит лейтмотив всякой религии. Объединение через размежевание, солидарность, выстроенная на образе врага. Сказанное чуть менее выражено в средневосточных религиях (Григорий Соломонович не случайно вспомнил Будду), но исследователи отмечают, что и буддийская идеология, подобно исламской, «разделяет весь мир на правоверных (область мира) и неверных (область войны)» (В.И.Коренев).

Только такие, достаточно двусмысленные учения, сочетавшие в себе призыв к любви между своими с требованием ненависти к чужим, и становились по большому счету востребованными. Учения же, отвергавшие социальное насилие полностью, оставались достоянием эзотерических сект (типа квакеров).

Причина этого обстоятельства, в общем-то, ясна. Войны отвечали глубинным социальным и психологическим потребностям людей, и историческая задача религий состояла в **упорядочении** насилия. Значительно более трудная задача **устранения** политического насилия впервые встала перед человечеством, приобретающим небывалые средства взаимного истребления, только в самые последние десятилетия. Поэтому сохранение цивилизации в значительной мере зависит от того, успеют ли люди «вырасти» из религиозного мышления, прежде чем сочетание инфантильного ума с взрослой мускулатурой обернется необратимыми последствиями...

И.Кант разделил благие человеческие поступки на две категории: красивые и моральные. Первые совершаются по душевной склонности, из любви или симпатии. Вторые – вопреки эмоциональному порыву, из чувства долга, ответственности, дисциплины. Красивые поступки приятны и желанны, но на них не построить надежных социальных отношений (в поисках дантиста, который нас полюбит, мы рискуем остаться без зубов).

Поэтому общество тысячелетиями вырабатывало и совершенствовало более надежные, чем своевольная «любовь», механизмы консолидации: мораль, право и правовое сознание, самоконтроль, взаимоуважение, терпимость, взаимопонимание, чувство ответственности, личного, профессионального долга. Анализ показывает, что все это генетически основано на развитии интеллектуальных способностей, умения оценивать отсроченные последствия. По-моему, главную проблему современного человечества составляет дефицит не любви, а именно разума, трезвого самостоятельного мышления... (Акоп Назаретян).

Идея, что любовь – разновидность агрессии, сперва вызвала у меня негодование, но потом я понял, что всякая научная теория опирается на опыт и

важно понять, на какой опыт опирается наука Акопа Назаретяна. Это опыт любви как жажды обладания. Любовь ли это в самом деле, можно спорить, но так часто думают и говорят. Клайв Льюис довел это понимание до гротеска в «Письмах Баламута». Возможно, в другом переводе книга называется иначе. Черт-дядюшка там объясняет племяннику, что такое любовь: желание схватить любимого и сожрать его.

Так выглядит – в зеркале гротеска – наше генетическое наследство. Но любовь, если она есть, укрощает, приручает зверя, очеловечивает его. Глубокое любовное чувство граничит с почитанием Бога в его живой иконе. Такая любовь складывалась в племени узритов, в доисламской Аравии, в Индии средних веков, на средневековом Западе. Кроме того, есть платоническая любовь, любовь к детям и детей к родителям (она подчеркнута в китайской культуре), и даже привязанность собаки к хозяину и хозяина к собаке можно иногда назвать любовью.

У любви тысячи оттенков. Греки, как я уже говорил, превратили эти оттенки в предметы и поделили любовь на агапе, филе и эрос. Христиане сбросили эрос в преисподнюю, к чертям, и довели агапе до неба. А постхристианская культура стала бунтом раскованного эроса. По-моему бесполезно возвращаться к тому, что однажды уже пало. Любовь без эроса безусловно возможна (любовь к незримому Богу, к иконной красоте природы). Но как единственный идеал она сразу становится надрывом, и не один отец Сергей споткнулся на этом пути. Меня привлекает к себе расширение пространства любви, стирание граней между личным и вселенским, между мирским опытом и религиозным поиском. Я сознаю, что слова мои недостаточно ясны, но они постепенно разъяснятся.

Хочется повторить и развить мысль, уже высказанную в моей реплике: личность можно описать как залив некоторого мыслящего и чувствующего океана. У залива индивидуальные очертания берегов, но он открыт океану, он одно с океаном. Одно – до тех пор, пока работа мысли не перегораживает горловины залива. С годами перемычка становится прочней и ее прорывает только эстетическое потрясение, потрясение от мистической встречи или от внезапно начавшейся переключки двух сердец. Если прав Тиллих (а я думаю, что он прав), то все эти потрясения входят в область религии – при разной степени близости к ее центру, но входят, так или иначе входят. Религиозное Тиллих определяет как предельно глубокое в любой области культуры, безразлично, связано ли это напрямую с культом или только переключается с ним.

Приведу пример из непридуманного рассказа Светланы Эминовой «Главная любовь жизни». «За ночь забыла – простила – всех своих врагов. Так вот что значит: «Иисус – это любовь» и «полюбите врагов своих!». Будьте в любви, и ничто не покажется неразрешимым.

Каждый прохожий – мил. Все слабы – всем нужна. Сегодня я всех сильнее. Обопритесь о мою улыбку. Кто тут несчастный – в записной книжке? Распоряжайтесь мной – ваша!

Расслабленность доброты. Понимаю Христа. Приходите ко мне, враги, – я прошу вас. Приходите, озлившиеся, – исцелю любовью своей. Распните – покорюсь. Протеста не будет – душа, растворенная в добре, не способна протестовать. Я сливаюсь со всем, к чему прикоснусь. Я – плывущее облако добра» (С.Эминова. Я не понимаю людей. М., 2002, с.268). Чувствуется, что христианские термины для рассказчицы непривычны, но на взлете чувства она не может без них обойтись.

На предельной глубине чувства рушатся все границы и перекличка двух сердец из плоти и крови становится перекличкой с сердцем мира, любовью к сердцу мира и через него – с каждым человеком на земле, с каждым живым существом. Томас Мертон пережил это во сне и в видении. Сперва пришел сон, о котором он писал Пастернаку; во сне он сидит «рядом с еврейской девушкой лет четырнадцати-пятнадцати, и вдруг она с глубокой, чистой любовью обняла меня. Я был потрясен до глубины души. Оказалось, что зовут ее Притча, и я подумал, что имя это – очень простое и красивое. Еще я подумал, что она – из рода св. Анны. Мы заговорили об ее имени, она им несколько не гордилась, подружки смеялись над ним. Я сказал ей, что оно прекрасно, и на этом сон оборвался. ...Вот Вы и посвящены в скандальную тайну монаха, влюбившегося в девушку, да еще еврейскую! Чего и ждать в наши дни от монахов... перевелись подвижники былых времен».

Сон этот, продолжал Мертон, видимо, связан с тем, что произошло несколькими неделями позже, 18 марта, в Луисвилле, где он был по издательским делам. «Я шел по оживленной улице и вдруг увидел, что каждый человек – Притча, все они светятся ее красотой, чистотой, застенчивостью, хотя не знают, кто они на самом деле, и стыдятся своих имен – ведь над ними часто смеются. Они не ведают, что каждый из них – то бесценное Чадо Божие, которое от начала мира играет пред Его лицом» (206).

О том, что произошло с ним тогда, Мертон писал в дневнике на следующий же день. Позже этот текст вошел в составленные из дневниковых заметок «Догадки виноватого наблюдателя»:

«В Луисвилле, у перекрестка 4-й и Ореховой улиц, в самом центре торгового района, я вдруг понял, что люблю всех этих людей, что они – мои, а я принадлежу им, что – не чужие, хотя и совершенно разные. Я словно пробудился от сна, где жил сам по себе, отделенный от всех, в особом мире, где царят отречение и мнимая святость. Нельзя быть святым, живя отдельно от других. Это – сон, иллюзия. ...Я чуть было не засмеялся от радости. Какое облегчение, какое счастье – освободиться от мнимых различий! ...Как хорошо быть одним из людей, хотя род человеческий занимается всякой чепухой и делает страшные ошибки. А все-таки Сам Бог прославил его, став Человеком. Я – один из людей! Подумать только, такая заурядная мысль потрясла меня, словно выигрыш на каких-то космических бегах. ...Людам никак не расскажешь, что они светятся, как солнце. ...Чужих нет! ...Если бы только мы все время видели друг друга, прекратились бы войны, ушли ненависть,

жестокость, алчность. ...Нам было бы очень трудно не упасть друг перед другом на колени. ...Врата небесные – повсюду» (207).

Заговорив о Мертоне, трудно остановиться. Хочется рассказать, что его любовь, созревшая в душе, кристаллизовалась наяву, как перенасыщенный раствор, в который брошена веточка (беру образ у Стендаля). В предисловии к русскому изданию биографии Мертон это осуждается: «Не все в Мертоне было безупречно, – пишет Форест. – Узнав о нем больше, вы увидите, что и он ошибался. На первом курсе в Кембридже он прижил внебрачного ребенка, в конце жизни, лёжа в больнице, влюбился в медсестру. Это случилось вскоре после того, как аббат позволил ему жить в скиту. Оказавшись вне общего монастырского ритма, Мертон стал как никогда прежде уязвим для искушений. В первые годы монашества он идеализировал свой монастырь, а позже порывался найти «лучшее» убежище (слово лучшее – в кавычках!) и в письмах, говоря об аббате и братьях, порою не мог сдержать едкого сарказма».

Все, что ломает шаблоны, свалено Форестом в общую кучу. Факты, изложенные в книге, опровергают его. Мертон вспоминает с гречью поверхностные связи своей юности, корит себя за юношеский эгоизм, но никогда не осуждает глубокой любви, пришедшей к нему в последние годы жизни. В эссе «Любовь и жизнь» он пишет: «Мы созданы для любви. Смысл жизни – тайна, и открывается она в любви, через того, кого мы любим» (в той же биографии Фореста на с 101).

Это можно отнести к любой любви, не только запретной для монаха, но и к ней также. Для предельно глубокой любви нет внутренних запретов. Я думаю, что самый образ Божий в мужчине окрашен его мужественностью, а в женщине ее женственностью, и тяготение друг к другу не противоречит тяготению к Богу. Андрогинная молекула любви ближе к Богу, чем каждый любящий по-отдельности. Остается противоречие между любовью и отрешенностью, но здесь можно вспомнить замечание Пикара, которого Мертон цитирует в «Мыслях уединенного»: «Мы созданы не для того, чтобы ликвидировать противоречия, а чтобы жить с ними», находить в глубине единство того, что на поверхности сталкивается. После одного из последних свиданий с Маржи Мертон пишет в своем дневнике: «Я могу жить только один. Одиночество – мой привычный климат. То, что мне разрешено было испытать такое полное единство, такую гармонию, такую любовь с другим человеком, с ней, – просто удивительно. Людей я люблю, но больше часа мне с ними трудно. С ней я был часами и не уставал, это чудо; но я все равно отшельник» (с. 162).

Впоследствии Мертон принял формулу, предложенную Рютер, женщиной-теологом, с которой обменялся несколькими письмами: отрешенность и созерцание перестают быть профессией, становятся частью большого ритма жизни. Но к этому ритму надо было заново идти каждый день, и Мертон шел к нему все свои последние годы.

Не все внутренне возможное было возможно внешне. Приходилось покориться традиции, которая в целом была еще живой и не допускала, до поры, до времени, грубой ломки, открытого бунта. «Дорогая моя, что-то очень глубокое в нас велит нам сдаться, – писал он Марджи, – но не так, как сдаются, когда одежда падает на пол и тела приникают друг к другу. Насколько поразительней сдаться наготе любви и такому единению, когда между нами нет преграды иллюзий».

Что Мертон имел в виду, говоря о падении преграды иллюзий, не вполне ясно. Возможно растворение человеческого в Божьем. Во всяком случае, он не считал свою любовь ошибкой, слабостью. Стихи, посвященные Марджи, были им переданы в архив; они опубликованы через 25 лет после его смерти. «Пусть знают и это, – писал Мертон, – ведь здесь часть меня самого, моя потребность в любви, мое одиночество, моя внутренняя разделенность, моя борьба, в которой уединение и «спасает», и мешает. Если оно спасает, то, видимо, не вполне» (с. 165-166).

Люди, подобные Мертону, не устают только от собеседников, с которыми можно молчать вдвоем, и такие собеседники становятся родными – иногда как супруги, иногда – как братья и сестры, как нерожденные дети. Полная преданность Богу не мешает частным привязанностям. Она исключает только поверхностные связи; и именно этот внутренний запрет открывает дорогу предельной глубине личного чувства.

Опыт Мертона повторил опыт истории. Древние греки не знали глубокой любви к женщине. Только в средние века культ Пречистой Девы стал перекликаться с культом далекой возлюбленной, с рыцарским поклонением даме. Один из памятников истории любви – переписка Абельяра с монахиней Элоизой. Мертон и Марджи в чем-то подобны этой паре. Глубокая любовь мужчины и женщины невозможна без скрытого или явного религиозного поклонения, сдерживающего эрос. Пушкин почувствовал это в своем бедном рыцаре, и в стихотворении о встрече с А.П.Керн есть те же обертоны. Мне уже приходилось вспоминать атеиста Стендаля, угадавшего, что верующие глубже любят. Мадам де Реналь говорит Жюльену Сорелю: «чувствую к тебе то, что должна была испытывать к Богу: благоговение, страх, любовь». Фабрицио дель Донго в сане епископа умирает от любви к Клелии Конти, как Перголезе, разлученный со своей возлюбленной.

Мертон оказался в плену своего пожизненного обета. Он не мог его нарушить без скандала, без грязных сплетен, и вынужден был принести свое чувство к Марджи в жертву человеческим представлениям об установленном Богом порядке. Но в душе он продолжал считать свою позднюю любовь даром Божиим, ничуть не противоречившим всему, что он искал и что нашел в отрешенности. Напротив, в диалоге с религиями Востока он находил себе оправдание. Он говорил, что чувствует себя скорее дзэнцем, чем траппистом; а дзэнская аскеза допускала возвращение в мир.

Полное приятие высокой земной любви и поразительное предчувствие встречи с Марджи можно увидеть в его эссе о Святой Софии:

«Во всем видимом есть незримая плодоносность, глубинный свет, мягкая безымянность, скрытая целостность, – Божья мудрость, мать всего, природа творящая. Во всех вещах есть неистребимая кротость и чистота, молчаливый источник действия и радости. Это восстает в безымянной нежности и течет ко мне из незримых корней всего сотворенного, ласково встречая меня с невыразимо смиренным приветом, это и мое собственное бытие, моя собственная природа, и дар мысли и искусства Творца во мне, говорящий как Святая София, как моя сестра, Мудрость.

Я просыпаюсь, я рождаюсь заново по голосу моей сестры, посланному мне из глубины божественной плодоносности.

Представим себе, что я человек, спящий на больничной койке. Я и есть этот человек, спящий в госпитале. Второго июля, праздник явления Богородицы. Праздник мудрости.

В пять тридцать утра я спал в глубоко спокойной палате, когда мягкий голос пробудил меня от сна. Я был подобен всем людям, пробуждающимся от всех снов, которые когда-либо снились во все ночи мира. Это было подобно единому Христу, пробуждающемуся во всех отдельных душах, которые когда-либо были отделенными, изолированными и одинокими во всех странах мира. Это было подобно всем умам, приходящим вместе к ясному сознанию после всего разброда, шатаний и запутанности, к единству любви. Это было подобно первому утру мира (когда Адам был пробужден от небытия нежным голосом Мудрости и познал ее) и подобно последнему утру мира, когда все частицы Адама восстанут из смерти по зову Святой Софии и найдут свое место.

Таково пробуждение человека, однажды утром, по голосу медсестры в госпитале. Пробуждаясь от безжизненности и тьмы, от беспомощности, от сна, встречаясь с реальностью и ощущая ее как нежность.

Это подобно пробуждению Евой. Это подобно пробуждению Святой Девой. Это подобно пробуждению от первичного небытия и восстанию в райский свет.

В прохладной руке медсестры – прикосновение жизни, прикосновение духа» (Merton reader, N.Y., 1989, p.506-507).

Этот отрывок прозы можно продолжить стихами.

И сердце бьется в упоеньи.
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье
И жизнь, и слезы, и любовь.

Полнота жизни – это полнота любви. Душевно здоровый человек – это любящий человек, любящий во всю широту этого чувства, когда очищается горловина залива и через сердце течет океанская волна, смывающая различия между священным и мирским.

«Полюби Бога и делай, что хочешь», – говорил Августин, один из любимых святых Мертона. В эссе «День странника» он развивает мысль о любви без границ сдержаннее, но не менее твердо:

«Я не вижу никакой причины, по которой мужчина не может любить Бога и женщину в одно и то же время. Если бы Бог смотрел на женщин ревнивым глазом, зачем он сотворил их? Много говорят о женатых священниках... Пока никто не говорит о женатых отшельниках. Причем, передо мной несколько икон Святой Девы».

Образ Святой Девы здесь воспринят в духе Бедного рыцаря:

С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел...

Ни на каких других женщин, ни на кого, кроме любимой. И дальше, в разговоре о созерцании, продолжается переключка земного с небесным:

«Можно сказать, что я избрал брак с молчанием леса. Нежное тепло природы будет моей супругой. Из сердца теплой мглы исходит тайна, слышная только в молчании, но это корень всех тайн, которые шепчут все любовники на их постелях по всему свету. И может быть я обязан хранить тишину, молчание, бедность, девственную точку чистого ничто, в котором центр всех воплощений любви. Я пытаюсь посреди ночи вырастить дерево любви, и в тишине подкармливаю его псалмами и пророчествами (Мертон вставал на рассвете и начинал день с пения псалмов – Г.П.). Оно становится редчайшим из всех деревьев в саду – это и первичное райское дерево, ось мира, космическая ось и крест».

И далее: «Для меня необходимо видеть пробуждение зари. Необходимо быть одному при воскресении дня, в тишине восхода. В этом полностью нейтральном состоянии я слышу от деревьев на востоке, высоких дубов, одно слово: день, никогда не одно и то же. Оно никогда не выговаривается ни на одном известном языке» (Merton reader, p. 434-435).

Глубокая любовь едина, как океан и его заливы. Волна в заливе переходит в океанскую волну и океанская – в прибой, сотрясающий залив. Глубокая встреча мужчины и женщины бывает, к сожалению, редко, и ее нельзя симулировать воображением. Симуляция кончается разочарованием, сдирающим с вороны павлиньи перья. Но остается то, о чем Цветаева писала в стихотворениях «Деревья» и «Куст». И у Рембо – далеко не святого, но великого поэта, – стихотворение о прогулке вдоль межи кончается строкой: «В вселенную как в женщину влюбленный».

Мертон пробивался в глубину, резко порвав со своей разболтанной юностью. Логика разрыва привела его в монастырь. А когда сложилась внутренняя дисциплина, внутренняя иерархия порывов, внешняя дисциплина монастырского распорядка стала мешать, мучить, и много лет ушло на борьбу с рутинной. Всех этих противоречий не было в жизни баронессы де Гук, встреча с которой ярко описана в «Семиярусной горе».

Екатерина Колышкина, в первом замужестве баронесса де Гук, во втором – Дохерти, родилась в русской православной семье в 1896 году. Католицизм также присутствовал в доме. Бабушка – француженка, отвечая на вопросы девочки о вере, кончала обычно словами: а в общем, это одно и то же. Поэтому переход в католицизм (в Англии, на полпути в Новый Свет) не был разрывом с традицией семьи. Во время революции Екатерина дала обет посвятить себя Богу, но у нее видимо не было надежды на казенное русское православие. Судя по ее речи в училище св. Бонавентуры, потрясшей Мертона, она видела в католической церкви единственную альтернативу мировому коммунизму и бичевала католиков за то, что они не горят апостольским огнем и не похожи на ранних францисканцев. Но разрыва с Россией никогда не было. Напротив, Колышкина, особенно в старости, прямо опиралась на традиции русских пустынников и странников и настойчиво вводила эти традиции в католический обиход.

Очень многим Екатерина была обязана своей матери. Наполовину англичанка, наполовину француженка, эта женщина жила так, как никто не живет на Западе. Раз в год она оставляла усадьбу, нанималась на месяц гувернанткой в какую-нибудь небогатую семью. Без опыта бедности она не чувствовала себя христианкой. Не знаю, была ли другая такая русская помещица, но все же в России это было возможно, рядом со Львом Толстым, рядом с Достоевским, любимые герои которого – юродивые. Мать брала с собой маленькую Екатерину, посещая пустынников. Однако никакого умерщвления плоти в доме не было. Когда у девочки начались месячные, мать ей сказала: какое это счастье! Ты стала женщиной, ты сможешь рожать детей. Это лучшее, что женщина может сделать. Напрасно называют это проклятием, это дар Божий!

Такой пересмотр проклятия Адаму и Еве глубоко запал в душу Екатерины. Христианство означало для нее апостольскую бедность, но не отказ человека от своего пола. Если собрать вместе фразы, разбросанные в разных книгах, то учение Колышкиной подхваченное третьей, уцелевшей ее общиной (первые две развалились), можно коротко изложить так: человек создан для святости. Жизнь без святости неполноценна. Святость начинается с самых малых дел, выполненных с Богом в душе. Святость не требует подавления пола. Пол – такой же дар Божий, как все естество. Но надо хранить его в чистоте. Брак – «счастливое приключение». Оно может и не приключиться, жизнь полна и без него, а если приключилось, то святость вполне возможна и в браке, с одним условием: не портить образ Божий в мужчине и в женщине, не терять первородства сердца. Жизненный путь невозможен без неудач, но это не беда. Если на то пошло, то величайшим неудачником был Иисус Христос.

Неудачей кончились две попытки Колышкиной создать общину нищенствующих, подавая другим беднякам милостыню слова, милостыню сочувствия. Первая попытка была сорвана в Канаде, вторая – в Нью-Йорке. Русская баронесса была очень нереспектабельна. Это вызывало раздражение и сплетни. Но огонь, горевший в ней, многих захватывал. Иногда в нее просто влюблялись, один

раз ей трудно было удержаться, чтобы не ответить тем же. В своей автобиографии она с чувством юмора рассказывает, как ускользнула от этого соблазна.

Ей было уже сорок семь лет, когда известный журналист Дохерти решил написать о ней книгу. Закончив серию интервью, он предложил ей выйти за него замуж. Она ответила, что не может оставить Дома дружбы в негритянском квартале. «Но вы меня любите?» «Да». «Тогда я распродам свое имущество, раздам деньги бедным и пойду за вами в трущобы». Молодые сняли на последние нерозданные деньги номер в отеле (это был их медовый месяц, длившийся три дня), а потом – лаконически заключает Колышкина – «мы прожили 32 года и только один раз поссорились». В автобиографии больше ничего не сказано, но в посланиях обитателям Дома Мадонны мелькают отголоски счастливого брака.

«Молитва, – пишет Колышкина, – это просто союз с Богом. Молитве не нужны слова. Когда люди любят, они смотрят друг другу в глаза, а жена просто лежит в объятиях мужа. Они не разговаривают. Когда любовь достигает апогея, ее не выразишь словами. Она достигает такого великого молчания, что пульс ее бьется с силой, которая неизвестна тем, кто любви никогда не испытывал. Такова суть молитвы с Богом. Вы соединяетесь с Богом, и Бог снисходит на вас, и союз этот вечен» («Пустыня», Магадан, 1994, с.55).

И в другом месте: «Истинное молчание – это разговор любящих. Потому что только Бог знает красоту молчания, его завершенность и внутреннюю радость. Истинное молчание – это огороженный сад, в котором душа может встретиться со своим Богом наедине. Это запечатанный ото всех источник, который только Бог может открыть и утолить беспредельную жажду души, стремящейся к нему...

Такое молчание не является исключительной прерогативой монастырей и монастырских школ. Это простое, наполненное молитвой молчание может явиться каждому. Оно доступно каждому христианину, который любит Бога, каждому еврею, который слышал в своем сердце голос Бога через Его пророков, каждому, чья душа вознеслась в поисках истины, в поисках Бога. Ибо где внутренний шум и беспорядок, там Бога нет!» (там же, с.16).

Колышкина ни в коем случае не против монашества, но «монахиня – пишет она в своей автобиографии – это женщина, безумно любящая Христа». А там, где безумия любви нет, там (можно продолжить ее мысль) монашество становится фальшью и насилием над природой. Я бы сказал, что такое понимание вещей близко к русскому народному пониманию пустынночества, странничества и юродства. Безумие любви – это не организация, не социальный институт.

После крушения всего, что создавалось в Гарлеме, Екатерина строила свою третью общину вместе с Эдом Дохерти и только под давлением кардинала Монтини (будущего папы Павла VI) согласилась на пожизненные обеты нестяжания, послушания и целомудрия. Последнее означало, по-видимому, что супруги стали жить в разных комнатах. Эта жертва была принесена не сразу. Три года ушло на размышления и колебания. И в общине обеты дали не все (вместе с двумя Дохерти –

17 человек). Такой ценой было достигнуто покровительство церкви и официальный статус, защищавший от нападков. Но говоря о тридцати двух годах супружества, Екатерина явно не считала его прерванным в 1954 году. Платоническое супружество продолжалось и позже, это легко сосчитать, если помнить, что свадьба состоялась в 1943.

В последний период служения Екатерины бедность стала исчезать в Северной Америке и добровольная встреча с бедностью утратила свою первостепенность. Это не значит, однако, что в мире победила любовь. В одной из самых замечательных глав «Пустыни» Екатерина Колышкина пишет: «Мы входим в «ледниковый период». Пройдет немного времени, и Канада, США, да и весь мир предложат своим правительствам – потребуют от них – обеспечить жизнь граждан от колыбели до могилы тем, что мы называем действенным проявлением милосердия...

Я называю это «ледниковым периодом», потому что действенное проявление милосердия должно сопровождаться великой любовью, нежностью, пониманием, состраданием и деликатностью. Однако в действительности сегодня оно редко представляется таковым, – таким оно, скорее, было раньше. Боюсь, что в ближайшем будущем все вышеупомянутые слова будут объединены одним словом – эффективность.

«Эффективность» – очень холодное слово, как и слово «бюрократия». Действительно, скоро голода не будет. Никто не умрет от нехватки медицинской помощи. Дания и Норвегия являются яркими тому примерами. Престарелые, новорожденные, дети да и все остальные граждане получают здесь надлежащий уход. Как мы знаем, в этих странах нет бедности. Скоро так будет и по нашу сторону Атлантики.

Однако в этих благополучных странах царит холод, страшный ледяной холод. Этот холод обрекает людей на страшное одиночество – одиночество и отверженность, которые ведут к большому числу самоубийств.

С помощью молитвы и поста, самоопустошения и самоотречения мы должны приготовиться к наступлению этой ледниковой эпохи, чтобы сердца наши стали чистыми, как у детей, способными видеть Бога. Мы должны стать проповедниками и носителями огня Святого Духа, потому что только огонь может растопить лед. Такова наша роль в будущем, и это будущее не за горами.

Мы должны приготовиться к тому, чтобы стать «Божиим прибежищем» для миллионов людей, которые уже сегодня лежат израненные, одинокие, избитые бесчисленными грабителями, имя которым – легион. Да, мы должны стать ледоколами, сердца которых так переполнены любовью к Богу и к человеку, так наполнены огнем Святого Духа, что способны проникнуть сквозь ужасный холод, уже окутывающий нас и порабащивающий все больше и больше человеческих сердец.

В последующие годы поток людей, стремящихся к нам, возрастет. Они придут не за едой, не за одеждой или кровом. Они придут потому, что, наконец, поняли, что не хлебом единым жив человек. Так давайте же будем осторожны в своих не всегда

обоснованных суждениях и пристрастиях. Да, возможно, есть опасность в общении с наркоманами, насильниками и прочими грешниками. Но наша вера защитит нас. Вера должна предохранить нас – вера и любовь. Молодежь будет приходить в поисках сердец, способных слушать, в поисках ран Христа, – ведь только они могут исцелить ее. Нынешнее поколение привыкло вначале потрогать, а потом поверить. Мы должны показать людям эти раны, чтобы, прикоснувшись к ним, они таким образом коснулись Христа и получили от Него исцеление.

Мы должны приготовиться, потому что такое гостеприимство, такая открытость – это ледоколы и прибежище Христа, которые должны вырастать в нас через Огонь Любви. Я вижу людей, которые, придя к нам со всех уголков земли, стучатся в дверь. Мы должны быть готовы пропустить через свои сердца толпы людей: людей с грязными ногами, чистыми ногами, поломанными ногами, разбитыми сердцами и голодными душами.

Да, мужчины и женщины будут приходить, потому что они захотят прикоснуться, захотят почувствовать. В нашем путешествии ко Всевышнему мы станем «Божиими ледоколами», неся свет, огонь и тепло в холодный и все более механический мир завтрашнего дня, в котором о каждом будут заботиться со знанием дела и «эффективно». Мы избраны для нового измерения любви. Мы избраны для того, чтобы войти в одиночество современного человека, в ледниковую эпоху Завтра и стать Божиими ледоколами и прибежищами для всех израненных и обмороженных, чтобы согреть их своей любовью».

Общая черта Мертона и Колышкиной – понимание любви как круговорота, в котором любовь к земному, сотворенному, к отдельным людям, к красоте природы не препятствует любви к незримому Творцу. А любовь к Творцу находит в земном зримые иконы незримого Духа. Христианство освобождается от инерции полемики с разлагающимся языческим миром. Теряет излишнее значение физическое целомудрие, неизбежно преодолеваемое на пути к семье, и граница чистоты проходит между глубоким сердечным чувством, создающим духовную молекулу, и господством вожделения, искажающим в человеке образ Божий. Складывается новая форма святости, святой семьи, недостаточно выявленная историей. Относительно Мертона это станет яснее, если вспомнить, что в самые последние свои годы он подружился с двумя многодетными семьями и много времени проводил с детьми.

Есть одиночки, живущие в чистом созерцании. Таков Кришнамурти. Выйти из созерцания ему почти так же трудно, как обычному человеку войти в созерцание. Даже общаясь с людьми, он остается одиноким. Некоторые вещи, доступные каждому, для него невыносимо трудны. Трудно было учиться. Индийский учитель бил его палкой за тупость. Кришнамурти не смог поступить в университет, изучать языки. Такие люди – живой противовес обыденному, живое дополнение к нему, но мыслимое только как редкость, как исключение.

Есть иной тип святости, как у Рамакришны, у многих христианских святых, с выходом из безмолвия к сострадательной любви, к молитвенной помощи другим, но

в отдаленном присутствии святых семья остается вне святости и дети растут вне святости, соприкасаясь со святостью только по праздникам, в храме, а не каждый день у себя дома.

У Колышкиной отчетливо сформулировано то, чего не хватает христианской цивилизации (хотя было в семье, вырастившей ее):

«Молодые мужчины и женщины любят друг друга. Они хотят пожениться. Но любят ли? Понимают ли, что призвание к браку означает такую любовь, что и дети их узнают, что такое любовь? Понимают ли они, что брак требует полной самоотдачи ради любви к Богу? Понимают ли, что любовь не эгоистична, не эгоцентрична и никогда не пользуется местоимением «я»?» (Е.Колышкина де Гук Дохерти. Самородки. Магадан, 2001, с. 23).

Иногда нужно много лет, чтобы понять это. Иногда для этого нужна аскеза, как у Мертона. Но аскеза не всегда должна быть пожизненной. Аскеза – школа любви к Богу. Аскеза может быть заменой семьи, если семья не состоялась или вовсе невозможна, как в тюрьмах и лагерях. Но она может быть и дверью к любви, создающей святую семью. Святой Антоний, основатель монашества, спросил Бога, много ли он достиг, и получил ответ: меньшего, чем александрийский сапожник. В некоторых вариантах легенды это многосемейный сапожник.